

A detailed oil painting of Alexander Blok by Konstantin Somov. The portrait shows Blok from the chest up, with dark, wavy hair and a serious expression. He is wearing a light-colored shirt with a high collar. The background is a neutral, light beige color.

КОНСТАНТИН
МОЧУЛЬСКИЙ

АЛЕКСАНДР

ТВОРЧЕСТВО И ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПОЭТА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

БЛОК

Константин Мочульский
Александр Блок

«Центрполиграф»

1945-1947

УДК 82
ББК 83.3(2Рос=Рус)

Мочульский К. В.

Александр Блок / К. В. Мочульский — «Центрполиграф»,
1945-1947

ISBN 78-5-227-10579-0

Книга литературоведа Константина Васильевича Мочульского посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших представителей русского символизма Александра Блока. Автор прослеживает жизненный путь поэта с детских лет до последних дней жизни, рассказывает о его творческой деятельности, анализирует произведения, уделяя особое внимание проблемам философского содержания творчества А. Блока. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 78-5-227-10579-0

© Мочульский К. В., 1945-1947
© Центрполиграф, 1945-1947

Содержание

Об авторе книги	7
Глава 1	12
Глава 2	32
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Константин Мочульский Александр Блок

АЛЕКСАНДР
БЛОК



О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!



© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2024

© «Центрполиграф», 2024

Об авторе книги

Константин Васильевич Мочульский родился в Одессе 28 января 1892 года. Он был старшим сыном в семье. Мать его, Анна Константиновна, урожденная Попович, была греческого происхождения. Вероятно, это обстоятельство давало Мочульскому повод подчеркивать, что он – человек средиземноморской цивилизации. Говорилось это полушутя, но, несомненно, такое утверждение соответствовало некоторому внутреннему ощущению; было в нем тяготение к ясности, к равновесию, к аполлиническому восприятию мира; путешествуя в странах, где всего явственнее чувствуется наследие классической культуры – по югу Франции, по Италии, Сицилии, – он с какой-то особенной радостью впитывал в себя и блеск южного солнца, и впечатления от художественных богатств, уцелевших от Античного мира. Что эта тенденция была не единственной в духовном складе Мочульского, что параллельно с нею в нем заложено было и другое начало, начало мистически-религиозного отношения к миру, – в этом сомневаться не приходится. Крайняя впечатлительность, очень рано в нем сказавшаяся, не могла оставить его равнодушным к религии, обряды которой строго соблюдались в доме его родителей. Но на первых порах едва ли эти впечатления имели решающее влияние. Им суждено было сказаться – зато с какой силой! – лишь много позднее.

Учился Константин Васильевич отлично. Ребенок несколько болезненный, он держался вдалеке от шумных игр, увлекался поэзией и театром. В 1910 году он окончил курс второй одесской гимназии и поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского университета, по романогерманскому отделению. Здесь он очень быстро выделился своими исключительными способностями и серьезностью своих интересов, предопределявшими, как тогда казалось, его жизненный путь: блестящая учено-университетская карьера могла считаться ему обеспеченной. Она, впрочем, соответствовала и семейной традиции: отец его был профессором Новороссийского университета, где занимал кафедру русской словесности. Одновременно, однако, живой интерес к текущей литературе сблизил Мочульского с кругом молодых писателей, среди которых острота его художественного восприятия и личное обаяние привлекли к нему немало друзей.

По окончании курса Мочульский оставлен был при университете. Предметом его занятий была история романских литератур. Уже после революции, в 1918 году, он был назначен приват-доцентом в Саратовский университет, но события помешали ему туда отправиться, и первые лекции с университетской кафедры ему суждено было читать в родной Одессе, в стенах Новороссийского университета. Однако судьбе неугодно было дать ему пойти по тому пути, который с такой естественностью перед ним открывался. В 1919 году, вовлеченный в общий беженский поток, он покидает Россию. В течение двух лет он читает лекции в Софийском университете, и притом с немалым успехом. Но рок эмиграции неумолим: «Из края в край, из града в град»... В 1922 году Мочульский уже в Париже. И здесь он еще не решается расстаться с мыслью об академической карьере. В составе русского отдела, который образован был при Сорбонне и объединял многих русских ученых, оказавшихся во Франции, он объявляет курс лекций – уже по русской литературе, в рамках задания и программы отдела. И здесь у него – полная аудитория, и курс свой он читает из года в год, переходя от одного писателя к другому. Но самый русский отдел постепенно хиреет, и деятельность его замирает. Скоро приходится признать очевидность: университетским ученым Мочульскому не стать.

Если еще в студенческие годы Мочульский, наряду с научными занятиями, испытывал свои силы в качестве писателя (хотя, кажется, никогда не печатался), то в Париже, когда виды на академическую карьеру становились все менее реальными, он, естественно, обратился к занятиям чисто литературным. Приезд его в Париж почти совпал с выходом (в феврале 1923 года) литературного еженедельника «Звено», основателями которого были П.Н. Милуков и

М.М. Винавер и который фактически редактировался и вдохновлялся только последним. Вместе с Андреем Левинсоном, Б.Ф. Шлецером, Г.В. Адамовичем, В.В. Вейдле, Н.М. Бахтиным, Г.Л. Лозинским Мочульский входил в состав редакционной коллегии журнала, и на протяжении пяти с лишним лет его существования не выходило почти ни одного номера, в котором не было бы статьи Мочульского. Помещал он преимущественно критические очерки о русских и французских писателях, но этим сотрудничество его не ограничивалось: в течение нескольких лет он вел отдел театральных рецензий (за подписью «Театрал») и, кроме того, от поры до времени давал «маленькие фельетоны», полные тонкого и очаровательного юмора. Наконец, появилось в «Звене», под псевдонимом Версилов, и несколько его рассказов, свидетельствующих о том, что техника художественного повествования не имела для него секретов.

Мочульский не был и не мог стать профессиональным журналистом. При всей впечатлительности его натуры, при всем внимании и интересе к новым веяниям в литературе, он никогда не соглашался подчиниться рутине журнальной работы: он не писал о том, о чем писать ему не хотелось, подход его был скорее подходом историка литературы, чем обозревателя, откликающегося на злобу дня. Поэтому многие из его очерков – несмотря на относительную краткость – выходят за пределы эфемерид, предназначенных для легкого чтения и столь же быстрого забвения. Я не имею возможности перечислить здесь хотя бы только важнейшие из его статей: слишком длинен был бы этот список. Перечитывая их, убеждаешься, что часто они заключают в себе суждения окончательные о писателях, что они – итог пристального изучения их творчества и глубокого проникновения в его смысл. Почти наугад называю очерки об Андре Жиде (1927) и о Некрасове (1928), где с необыкновенной точностью и выпуклостью даны едва ли не исчерпывающие формулы, могущие служить ключом к личности и творчеству обоих авторов. В этом смысле работа Мочульского в «Звене» может считаться предвосхищением его трудов о Гоголе, Соловьеве, Достоевском.

Однако прежде чем произошло такое переключение на иные масштабы, на систематическую литературно-исследовательскую работу, Мочульскому суждено было пережить духовный кризис, глубоко потрясший все его существование.

В жизни Мочульского были стороны, которые он едва ли открывал даже близким друзьям. Всем, кто знал его в первое десятилетие пребывания во Франции, кого он привлекал и очаровывал своей приветливостью и простотой, своим доброжелательством и искренностью, своим беззлобным остроумием, той чистотой, которую он неизменно излучал, – всем он казался существом жизнерадостным, повернутым к солнечной, «средиземноморской» стороне жизни. Но, несомненно, были в его душе не зарубцевавшиеся раны, делавшие это светлое равновесие обманчивым. Его молодость была омрачена тяжелыми утратами: один из двух младших его братьев, Николай, будучи еще студентом, погиб на Кавказе во время экскурсии, спасая тонувшую девушку. Другой брат, тоже еще студент, умер от туберкулеза в 1923 году, в Швейцарии, на руках у Константина Васильевича. Мать его, к которой он был нежно привязан, скончалась в России, в 1920 году. Все это переживалось тяжело, и все это, надо думать, подготовляло Мочульского к тому перелому, который совершился в нем в конце 20-х или в самом начале 30-х годов.

Ни точный момент, ни обстоятельства этого перелома никто с определенностью установить не может. Некоторые факты дают указания на совершавшуюся в нем перемену. Некогда усердный посетитель русских литературных кружков, он перестает показываться в монпарнассских кафе, где они собирались. Зато его можно встретить на собраниях Религиозно-философской академии, основанной Н.А. Бердяевым. В 1933 году он читает в академии цикл лекций, посвященных западным мистикам. Тема, им избранная, свидетельствует о его занятиях философией и богословием, – занятиях, позволивших ему впоследствии проявить солидные философские познания в книге о Владимире Соловьеве. На религиознофилософское мирозерцание его, несомненно, сильно воздействовал отец Сергей Булгаков, с которым

его связывали близкие личные отношения (ему Мочульский посвятил «с сыновней любовью» свою книгу о Соловьеве). Нет также сомнения в том, что Бердяев, в окружение которого он входил, со своей стороны сильно влиял на его мышление.

Но духовное преобразование, испытанное в то время Мочульским, шло гораздо дальше освоения философских и религиозных проблем. По-видимому, приобщившись к церковной жизни, он готов был всецело себя в ней растворить; монашество казалось ему единственно возможным завершением происходившей в нем эволюции. И он себя к нему постепенно готовил: упростил свое существование до последних пределов, стал раздавать свое скудное имущество – в частности, книги, которые ранее с любовью собирал. Вероятно, подвергал себя и другим испытаниям, готовясь к иноческому аскетизму. Вот что сказал об этом епископ Касьян в слове, произнесенном на панихиде по Мочульском в Сергиевском подворье в Париже: «В конце двадцатых годов мы видели его здесь, в этом храме, простертым ниц перед иконою Божией Матери. А несколько лет спустя многих удивило слово, сказанное ему покойным митр. Евлогием. Это было здесь же, в этом храме, вскоре после архиерейской хиротонии тоже покойного епископа Иоанна. Встретив Константина Васильевича, владыка Евлогий сказал ему: „Теперь ваша очередь“. Митрополит Евлогий был человек большого жизненного опыта и большого знания людей. И он намечал мирянина Мочульского на высшее – архиерейское – служение в Церкви».

Мочульский остался в миру (хотя и был посвящен митрополитом Евлогием – сперва в церковные чтецы, а потом в иподиаконы). Однако, говоря словами старца Зосимы, он и «в миру пребыл как инок».

Вероятно, решающее значение имело для него общение с матерью Марией (Скобцовой), монахиней, для которой тоже монастырской кельей был весь Божий мир. Еще не написана ни биография этой удивительной женщины, ни история «Православного дела», во главе которого она стояла, но хочется думать, что найдется человек, который эту миссию исполнит. Слишком значительным – если не по внешним своим проявлениям, то по общему своему смыслу – было дело, созданное матерью Марией, и образ ее не должен забыться, как не забылся образ других женщин, сочетавших высокий склад души, сильную веру и необычайный духовный подъем с практическим действием, не отступавшим ни перед какими трудностями. «Православное дело» возникло в 1935 году. Мать Мария была его председательницей, Мочульский – товарищем председателя. Вот как описывает их сотрудничество один из ближайших участников «Православного дела»:

«Мать Мария и Константин Васильевич были очень дружны, трудно сказать, кто на кого больше влиял; их дружба определялась русской религиозной мыслью, искусством, поэзией, богословием. Они были противоположных характеров: К.В. был кабинетный, ученый человек, мать Мария была общественницей. К.В. был тихий, скромный, избегал борьбы, боялся столкновений; общественность, особенно эмигрантская, была ему совершенно чужда, он ее сторонился. Мать Мария считала, что новый тип монашества должен идти в мир, на площади, не думать о своем спасении; нужно спасать других; мир горит, говорила она, мир нуждается в спасении. Нужно идти к пьяницам, к обездоленным. В дневнике К.В. Мочульского, в связи с воспоминаниями о матери Марии, об этом много сказано. Он часто был зачарован проектами и деятельностью матери Марии. Ко всем ее начинаниям он относился с сочувствием, в обсуждениях принимал горячее участие. Многое не удавалось. К.В. разделял горячо наши неудачи.

В первые годы деятельности объединения „Православное дело“ Константин Васильевич много отдавал энергии и сил миссионерской деятельности в пригородах Парижа или в нашем центре, читая лекции и призывая слушателей к церкви, к помощи обездоленным. Не всегда его попытки были успешны. К.В. падал духом, но после встреч с матерью Марией вновь одушевлялся. В группах при объединении „Православного дела“ К.В. был в своем роде духовным

руководителем, и действительно он пользовался уважением и любовью и на путях духовной жизни оказывал нам огромную помощь».

Наступил 1940 год. Париж оказался в руках немцев. Что гестапо не потерпит существования демократической христианской организации, не различавшей между эллином и иудеем, было заранее ясно. Ясно это было, конечно, и самим участникам «Православного дела». Но все они, во главе с матерью Марией, мужественно оставались на посту. И неизбежное произошло. В начале 1943 года, после обысков и допросов, произведенных в помещении «Православного дела», арестованы были сама мать Мария, сын ее, Юрий Скобцов, священник отец Дмитрий Клепинин, И.И. Фундаминский-Бунаков, Ф.Т. Пьянов и др. Все они были депортированы, и, кроме последнего, никто не вышел живым из немецких концентрационных лагерей.

Мочульский уцелел каким-то чудом. Но потрясение, испытанное им при виде участи, постигшей людей, с которыми связывало его не только общее дело, но и узы личной любви и тесного духовного общения, было огромно. От этого удара он так и не оправился, и нет сомнения, что трагедия, разыгравшаяся на его глазах, способствовала развитию его физического недуга не менее, чем ужасные материальные условия, в которых пришлось ему жить в годы немецкой оккупации.

Серия литературных трудов Мочульского открылась появлением в 1934 году книги «Духовный путь Гоголя». За ней последовала в 1936 году работа о В.С. Соловьеве, а в 1942 году закончен был Мочульским обширный его труд о Достоевском, вышедший в свет только в 1947 году. Очень верно отметил Ю.К. Терапиано, что все эти книги выросли естественно из личного опыта Мочульского, что в судьбе авторов, над духовной историей которых он с таким вниманием склонялся, он стремился найти ответ на вопрос о том, как человек обретает самого себя, свое религиозное призвание: иначе говоря, искал параллели с собственным духовным переломом, пережитым *nel mezzo del cammin*¹. Но это – только объяснение – очень правдоподобное – того, почему Мочульский выбрал предметом исследования одних авторов, а не других. Объективная ценность его работ, разумеется, в другом: он сумел дать убедительный синтез творческого развития всех трех писателей, пролить новый свет на источники их мысли, на силы, которым повиновалось их художественное воображение. Эти построения Мочульского приобретают особенную убедительность еще и потому, что домыслы его покоятся на прочном историко-литературном фундаменте; здесь сказалась его научная формация, заставившая каждое утверждение, подсказанное интуицией, подкреплять критическим анализом имевшихся в его распоряжении литературных источников, вариантов, черновиков, переписки и т. д. Не может быть сомнения в том, что в будущем ни один историк русской словесности не пройдет мимо работ Мочульского и новых концепций, им выдвинутых.

В последние годы своей жизни Мочульский, несмотря на подавленность, вызванную страшными событиями военных годов, и, несмотря на усиливающуюся болезнь, продолжает усердно работать: читает лекции в парижской Духовной академии, председательствует в «Православном деле», а главное – продолжает писать. Закончив свой труд о Достоевском, он обратился к русским поэтам-символистам, возвращаясь тем самым к интересам своей молодости (он был некогда сторонником «формального» метода, и кое-какие следы этого раннего увлечения читатель найдет на страницах, посвященных разбору звукового строения блоковских стихов). Работал он, как всегда, с чрезвычайным подъемом и вдохновением; он, можно сказать, жил жизнью тех людей, творчеством и духовной историей которых занимался. Плодом этой работы является настоящая книга о Блоке.

Однако болезнь неумолимо подтачивала его силы. В 1946 году ему пришлось перейти на санаторный режим. Он жил сперва в Фонтенбло, а потом переехал в Камбо, в Пиренеях. Здесь

¹ В середине пути (*ит.*).

как будто наступило улучшение, и летом 1947 года врачи разрешили ему вернуться в Париж. Он поселился за городом, в Нуази-ле-Гран. Несмотря на дружеское внимание и тщательный уход, там его окружавшие, обнаружился рецидив, сразу принявший угрожающую форму. Пришлось возвращаться в Камбо. Всем друзьям К.В. было ясно, что дни его сочтены. Последние месяцы он провел в тяжких страданиях. Но он сумел побороть их непреклонным мужеством перед лицом смерти и высоким религиозным подъемом. В одном из последних своих писем он писал: «Трудно болеть, трудно задыхаться, трудно не видеть того, кого любишь, но верьте, умоляю вас, верьте, что во всем этом есть смысл». Эту веру, эту силу духа он сохранил до последней минуты.

М. Кантор

Глава 1

Детство и отрочество (1880–1900)

По отцу Блок – немецкого происхождения. Его прапрадед, мекленбургский выходец Иоганн фон Блок, переселился в Россию в 1755 году и состоял лейб-медиком при императрице Елизавете Петровне. Дед, камер-юнкер и предводитель дворянства, был женат на дочери псковского губернатора Черкасова; последние два года жизни он провел в психиатрической больнице. Душевную неуравновешенность унаследовал от него сын – профессор и внук – поэт. Отец Блока, Александр Львович, блестяще окончил юридический факультет Петербургского университета, был любимым учеником профессора А.Д. Градовского и занимал кафедру государственного права в Варшавском университете. Научное наследие его довольно скудно: две небольшие книжки по государственному праву и незаконченный труд «Политика в кругу наук», над которой он работал 21 год. В первой своей книге «Государственная власть в европейском обществе» (1880) Александр Львович восстает против государства и проповедует революционный анархизм. «Не лучше ли, – пишет он, – людям упразднить такого рода от них независимую и стесняющую форму общежития (государство)». Цензура первоначально присудила книгу к сожжению. Вторая книга А.Л. Блока «Политическая литература в России и о России» (1884) – причудливое сочетание научности с публицистикой, памфлета с социальной утопией. Автор саркастически обличает буржуазную Европу и противопоставляет ей русское «мужичье царство»; его характеристика русского народа остра и парадоксальна; А.Л. Блок восхваляет «беспринципность, язвительную насмешливость, едкую иронию, не лицемерность самого зла, дающие нам гордое сознание наших варварских преимуществ»².

Поэт едва ли знал сочинения отца – тем поразительнее сходство их умонастроения. Своеобразное славянофильство отца отразилось в статьях Блока о России и в его поэме «Скифы».

Александр Львович был очень красив в молодости: черноволосый, с длинным бледным лицом, порывистый и легкий; у него были серо-зеленые глаза, тонкие черты, сросшиеся брови, ярко-красные губы и тяжелый взгляд. Он отличался большой физической силой, неожиданно и громко смеялся и, волнуясь, немного заикался. Сын был похож на отца сложением и общим складом лица.

Александр Львович – натура раздвоенная, неудовлетворенная, мучительно дисгармоничная. Научная карьера легла тяжким бременем на его артистический темперамент. В душе он был поэт, знал наизусть множество стихов, считал себя стилистом, учеником Флобера и изысканно оттачивал свои фразы. Книги его написаны острым афористическим языком, с французскими *pointes*³ и литературной злостью. Блок говорит об отце: «Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна... Свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его».

Неудавшийся ученый, неудавшийся поэт, Александр Львович находил выход своему лирическому волнению в музыке. Его ученик Е. Спекторский вспоминает: «Когда нередко среди глубокой ночи он садился за рояль, раздавались звуки, свидетельствовавшие, что музыка была для него не просто техникой, алгеброй тонов, а живым, почти мистическим общением с гармонией, если не действительной, то возможно, космоса». Он любил Бетховена и Шумана; играл с надрывом, страстью, вдохновением».

² Спекторский Е. Александр Львович Блок, государствовед и философ // Варшавские университетские известия. 1912. III.

³ Острие, жало (*фр.*).

Стихия музыки в Блоке – от отца. Но и страшный недуг, которым страдал поэт – «болезнь иронии», – тоже отцовское наследие. Александр Львович писал в своей книге, что «в гармоническом сочетании реализма и идеализма заключается высший смысл русской поэзии, литературы и жизни». Но сам он был разорван между идеализмом и реализмом. Мечтатель, потерявший веру в мечту, романтик, отравленный скепсисом, «русский Байрон» и «демон» – образом страшным и роковым врезался он в воображение поэта.

«Ирония, – пишет Е. Спекторский, – властно толкала его мысль на путь критики всякого рода иллюзий, и притом критики, дающей отрицательный, более или менее безотрадный плод, рассеивающий воздушные замки и ничего не осуществляющий, кроме действительности во всей ее печальной наготе. Но вместе с тем она сопровождалась какой-то грустью, какой-то тоской по иллюзии, каким-то желанием все-таки не расстаться окончательно с мечтою и верить в нее... Он обладал твердой, непреклонной, можно сказать, упрямой волею. Раз начатое дело он доводил до конца. Беспощадно-аналитический ум как бы тешился дисгармонией настоящей, единственно-реальной действительности и расстраивал всякие мечты, всякую веру и надежду. В результате – глубокая ирония, разочарованность и резиньяция⁴».

Так протягиваются нити от отца к сыну. То же раздвоение в восприятии мира, та же тревога и мечтательность, та же музыкально-лирическая стихия, чувство гибели и отравленность иронией.

Мать Блока – Александра Андреевна – чисто русская. Ее отец – знаменитый профессор ботаники и ректор Петербургского университета Андрей Николаевич Бекетов. В молодости поклонник Фурье и Сен-Симона, он принадлежал к благородному поколению русских романтиков-идеалистов. Возвышенность души и детская чистота сердца, дворянский либерализм и бескорыстное служение добру, идеалы эпохи Великих реформ и народничество соединялись в нем с научной одаренностью, темпераментом, артистичностью. Его любили товарищи, студенты, домашние. Он отстаивал независимость университета, был одним из основателей Бес-тужевских курсов и в правительственных кругах слыл революционером. Для любимца внука – будущего поэта – дед сочинял сказки и рисовал занятные картинки. В «Автобиографии» Блок называет Андрея Николаевича «дворянином-шестидесятником», «идеалистом чистой воды». «В своем селъце Шахматове, – пишет он, – дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком, совершенно по той же привычке, по которой И.С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать всё, что ни спросят... Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: „Et bien, mon petit...“⁵ Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты... Однажды мой дед, видя, что мужик несет на плече из лесу березу, сказал ему: „Ты устал, дай я тебе помогу“. При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу».

С любовным юмором поэт набрасывает портрет деда в поэме «Возмездие»:

Глава семьи, сороковых
 Годов соратник: он поныне
 В числе людей передовых
 Хранит гражданские святыни;
 Он с николаевских времен
 Стоит на страже просвещения,
 Но в буднях нового движенья

⁴ Резиньяция – полная покорность судьбе.

⁵ Ну, мой маленький... (фр.)

Немного заплутался он...
Тургеневская безмятежность
Ему сродни; еще вполне
Он понимает толк в вине,
В еде ценить умеет нежность;
Язык французский и Париж
Ему своих, пожалуй, ближе...
И ярый западник во всем —
В душе он старый барин русский...

Андрей Николаевич Бекетов был женат на Елизавете Григорьевне Карелиной, дочери известного исследователя Средней Азии Г.С. Карелина. Бабушка Блока, воспитанная на французской культуре, была очень начитанна и владела пятью языками. Она переводила с французского и английского; список ее трудов громаден. «Некоторые из ее переводов остаются и до сих пор лучшими», — пишет Блок. Она любила музыку и поэзию, прекрасно читала вслух сцены из Островского и рассказы Чехова. Это была остроумная, жизнерадостная женщина с ясной мыслью и несокрушимым здоровьем. «Пламенная романтика» сочеталась в ней со «старинной сентиментальностью». Елизавета Григорьевна встречалась с Гоголем, с братьями Достоевскими, Л. Толстым, Майковым, Аполлоном Григорьевым. Ф.М. Достоевский собственноручно передал ей английский роман, который она перевела для журнала «Время». Е.Г. Карелина создала высокий литературный тон семьи, в которой выросал Блок.

У Бекетовых было четыре дочери: старшая, Екатерина Андреевна Краснова, писала рассказы и стихи; Мария Андреевна — биограф Блока; Софья Андреевна — в замужестве Кублицкая-Пиоттух, и младшая — Александра Андреевна — мать Блока; она переводила в стихах и прозе и писала стихи для детей. В детстве Александра Андреевна — Ася — была живой, впечатлительной и капризной девочкой. Ее веселость, чувствительность, шаловливость сменялись припадками беспричинной тоски. В резких переходах настроений, в бурных порывах и внезапных увлечениях была истеричность. К шестнадцати годам она стала прелестной стройной девушкой, кокетливой и мечтательной. Вместе с женственностью пробудилась в ней глубокая религиозность. Но это не мешало ей увлекаться театром и влюбляться в актеров.

С Александром Львовичем Блоком Александра Андреевна познакомилась на танцевальном вечере у подруги. Он стал бывать в «ректорском доме» на набережной Невы. В верхнем этаже, в белой зале окнами на Неву, по субботам собиралась молодежь; пили чай с бутербродами, играли в *petits jeux*⁶, танцевали. 7 января 1879 года Александра Андреевна вышла замуж за А.Л. Блока. Ему было 27 лет, ей — 18. Молодые уехали в Варшаву и прожили там около двух лет. Впоследствии мать Блока с ужасом вспоминала об этих годах. Любовь Александра Львовича выразилась в сумасшедшей ревности, деспотизме и жестокости. Александра Андреевна сидела взаперти, запуганная и голодная. Потом она признавалась сестре: «В минуты гнева Александр Львович был так страшен, что у меня буквально волосы на голове шевелились». Первый ребенок родился мертвым. Эти два страшных года решили судьбу матери Блока: истерическая предрасположенность способствовала зарождению нервной болезни, которой она страдала потом всю жизнь. В 1880 году Александр Львович приехал в Петербург защищать свою магистерскую диссертацию; он привез с собою жену, беременную на восьмом месяце. В измученной, больной, поблекшей женщине родные не узнали своей красавицы Аси. После блестящего диспута А.Л. Блок вернулся в Варшаву один: родители настояли на том, чтобы Ася до родов осталась в «ректорском доме».

⁶ Салонные игры, устраиваемые светской молодежью.

16 ноября 1880 года у Александры Андреевны родился сын Александр – будущий поэт. Отец приехал к Рождеству и поселился у Бекетовых. Он устраивал сцены жене и возненавидел всю ее семью. Александра Андреевна хворала после родов, не могла сама кормить ребенка. Дедушка Бекетов потребовал, чтобы зять оставил жену в Петербурге до весны, а потом уговорил дочь навсегда расстаться с мужем. Из Варшавы полетели письма с угрозами и телеграммы «о тяжелой болезни». После долгой борьбы Александр Львович смирился, но обиды не простил никогда. Так будущему поэту суждено было расти без отца, писать ему изредка официальные письма, а в редкие встречи чувствовать его чуждость и «страшность»⁷.

После развода с матерью поэта Александр Львович женился во второй раз на Марии Тимофеевне Беляевой. Второй брак его был столь же неудачен, как и первый. Мария Тимофеевна покинула его со своей трехлетней дочерью Ангелиной. А.Л. Блок остался один в Варшаве, замкнулся в озлобленном одиночестве и доживал свой век маньяком и человеконенавистником. Поэт описывает отца: «В альбоме была его фотография. Он на ней очень красив, повернут в профиль – еще молодой. Жестокий взгляд, угрюмо опущенное лицо как нельзя более соответствовали страшным рассказам о Варшаве... Когда он впервые на моей памяти появился у нас, оказалось, что наружность у него совсем не такая величаво-инфернальная, как я себе представлял. Он был не очень высок, узок в плечах, сгорблен, с жидкими волосами и жидкой бородкой, заикался, а главное – чего я никак не ожидал – он был робок... садился в темный уголок, не любил встречаться с посторонними, за столом всё более молчал и если вставлял словечко, то сразу потом начинал смеяться застенчивым, неестественным, невеселым смехом».

Незадолго до смерти отца сын навестил его в Варшаве. «Он сидел на клеенчатом диване за столом, – вспоминает Блок. – Посоветовал мне не снимать пальто, потому что холодно. Он никогда не топил печей. Не держал постоянной прислуги, а временами нанимал поденщицу, которую называл „служанкой“. Столовался в плохих „пукернях“. Дома только чай пил».

После смерти отца в 1909 году и поездки на его похороны в Варшаву, Блок пишет поэму «Возмездие», в которой пытается разгадать свое таинственное сходство с отцом – с «демоном», просиявшим и погасшим, образ которого неотступно его преследовал.

В поэме образ отца окружен романтическим ореолом. Появлению молодого ученого в доме Бекетовых предшествует лейтмотив ястреба:

Встань, выйди поутру на луг:
На бледном небе ястреб кружит,
Чертя за кругом плавный круг...

И вновь, взмахнув крылом огромным,
Взлетел – чертить за кругом круг,
Несытым оком и бездомным
Осматривать пустынный луг.

В салоне известной общественной деятельницы Анны Павловны Философовой (в поэме она называется Ольгой Вревской) появляется «русский Байрон»:

Его заметил Достоевский.
«Кто сей красавец? – он спросил
Негромко, наклонившись к Вревской:
– Похож на Байрона».

⁷ Бекетова М.А. Александр Блок. Л., 1930. Она же. Ал. Блок и его мать. Л.; М., 1925.

М.А. Бекетова в своей книге о Блоке подтверждает подлинность этой встречи. «Как говорили тогда, – прибавляет она, – Достоевский собирался изобразить его в одном из своих романов в качестве главного действующего лица». Крылатое словцо Достоевского имело успех, дамы шептали с восхищением: «Он – Байрон, значит – демон». Автор продолжает:

Он впрямь был с гордым лордом схож
Лица надменным выраженьем
И чем-то, что хочу назвать
Тяжелым пламенем печали.

Но поздний потомок Онегина и Печорина, последний русский романтик – демон со сло-
манными крыльями: воля его отравлена, пламень страстей в нем погас:

Потомок поздний поколений,
В котором жил мятежный пыл
Нечеловеческих стремлений,
На Байрона он походил,
Как брат болезненный на брата
Здорового порой похож:
Тот самый отсвет красноватый
И выражение власти то ж,
И то же порыванье к бездне.
Но – тайно околдован дух
Усталым холодом болезни,
И пламень действенный потух,
И воли бешеной усилъя
Отягчены сознаньем...

Возвращается лейтмотив ястреба:

Так —
Вращает хищник мутный зрак,
Больные расправляя крылья.

«Новоявленный Байрон» попадает в «дворянскую семью», пленяет стариков своей старинной учтивостью и чинностью, «живой и пламенной беседой». После взрывов вдохновения на него находит внезапная мрачность; тогда он садится за рояль...

И там – за бурей музыкальной —
Вдруг возникал (как и тогда)
Какой-то образ – грустный, дальний,
Непостижимый никогда...

Романтизируя своего героя, поэт изображает его роман с меньшей дочерью «дворянской семьи» в напряженно-драматических чертах. Девушка очарована красотой гостя, «демонским мерцанием» его очей; родной дом становится для нее тюрьмой; он – ее герой, ее жизнь и счастье. Но «демон» медлит; «пламенные страсти» в нем охладели; иронический ум борется с увлечением. Мотив ястреба вырастает в символ страсти-ненависти, «любви вампирственного века».

Смотри: так хищник силы копит;
Сейчас больным крылом взмахнет,
На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь
Уже от ужаса – безумной,
Дрожащей жертвы.

Первая глава поэмы заканчивается возвращением дочери в отцовский дом:

Вдруг – возвращается она...
Что с ней? Как стан прозрачный тонок!
Худа, измучена, бледна...
И на руках лежит ребенок.

О детстве Блока с любовью рассказывает его тетка, Мария Андреевна Бекетова. Ребенок родился слабым и болезненным, но скоро поправился. «Саша был живой, неутомимо резвый, интересный, но очень трудный ребенок: капризный, своевольный, с неистовыми желаниями и непреодолимыми антипатиями». Бабушка, мать и тетка обожали его: в семье был настоящий культ маленького Саши. Большое влияние имела на него кроткая няня Соня, которая читала ему сказки Пушкина и стихи Жуковского. «В играх Саша проявлял безумную страстность и большую силу воображения». Больше всего он любил рисовать кораблики – и эту любовь сохранил на всю жизнь. Когда ему исполнилось три года, его повезли на морское купание в Триест; оттуда семья переехала во Флоренцию и пробыла за границей девять месяцев. Зимой 1884 года мальчик благополучно перенес свою единственную тяжелую болезнь – плеврит. Каждое лето Бекетовы проводили в небольшом имении Шахматово (Клинского уезда, Московской губернии). Сашу привезли туда впервые шестимесячным ребенком. Всю свою жизнь он любил Шахматово особой, мистической любовью. Эта холмистая и лесная страна с болотами, гатями и оврагами, с битым камнем на косогорах, с желтыми пластами глины, с бесконечными синими далями, тихими зорями и ясными закатами, эта средняя полоса России – родина блоковской поэзии. По ее бескрайним просторам разливается мелодия его стихов. У Блока подмосковное Шахматово – «пейзаж души», символ России с ее песнями, звенящими «тоской острожной». Умирая, он вспоминал:

...Леса, поляны,
И проселки и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

«Помещичья усадьба, – рассказывает М.А. Бекетова, – стояла на высоком холме. К дому подъезжали широким двором с круглыми куртинами шиповника, упоминаемыми в поэме „Возмездие“. Тенистый сад со старыми липами расположен на юго-восток, по другую сторону дома. Открыв стеклянную дверь столовой, выходившей окнами в сад, и вступив на террасу, всякий поражался широтой и разнообразием вида, который открывался влево. Перед домом песчаная площадка с цветниками, за площадкой – развесистые вековые липы и две высокие сосны. Столетние ели, березы, липы, серебристые тополя, попеременно с кленами и орешником, составляли группы и аллеи. В саду было множество сирени, черемухи, белые и розовые розы, густая грядка белых нарциссов и другая такая же грядка лиловых ирисов. Одна из

боковых дорожек, осененная очень старыми березами, вела к калитке, которая выводила в еловую аллею, круто спускающуюся к пруду. Пруд лежал в узкой долине, по которой бежал ручей, осененный огромными елями, березами, молодым ольшаником». В незаконченной второй главе поэмы «Возмездие» Блок с нежностью вспоминает «угол рая», где прошло его детство. Бледными чертами зарисована шахматовская усадьба: цветущая тишина, далекий колокольный звон, сияние весны...

Огромный тополь серебристый
Склонял над домом свой шатер,
Стеной шиповника душистой
Встречал въезжающих во двор...

...Здесь можно было ясно слышать,
Как тишина цветет и спит...

Бросает солнце листьев тени,
Да ветер клонит за окном
Столетние кусты сирени,
В которых тонет старый дом;
Да звук какой-то заглушенный,
Звук той же самой тишины,
Иль звон церковный отдаленный,
Иль гул... весны.
И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень...
Белеет церковь над рекою,
За ней опять леса, поля...
И всей весенней красотой
Сияет русская земля.

Это «сияние русской земли» пронзало сердце ребенка; для юноши оно стало мистическим видением. Сюда, на эти озаренные просторы, в лазури и розах, сходила к нему Прекрасная Дама. И первая любовь к ней неотделима от любви к родине:

...Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви.

В «углу рая», утопавшем в сирени и шиповнике, рос золотокудрый невинный мальчик:

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден,
Летели годы безмятежно,
Как голубой весенний сон.

На фотографической карточке 1885 года лицо пятилетнего мальчика поражает печальной кротостью и ангельской чистотой. В этом возрасте он был так красив, что перед ним на улице останавливались прохожие. Золотые кудри, огромные голубые глаза, тонкая шея в белом

кружевном воротничке – наружность сказочного принца. В Шахматове мальчик по целым дням странствовал по полям и лесам. Он был окружен друзьями: до страсти любил собак, кошек, зайцев, ежей, даже червяков. Дедушка Бекетов брал его с собой на ботанические прогулки. Блок вспоминает: «Мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий». Товарищами будущего поэта были его двоюродные братья, Фероль и Андрияша Кублицкие, сыновья тетки, Софьи Андреевны. Саша изобретал игры, был зачинщиком во всех шалостях. М.А. Бекетова утверждает, что «ребяческие игры увлекали его долго, а в житейском отношении он оставался ребенком чуть не до восемнадцати лет». В автобиографии поэт признается: «„Жизненных опытов“ не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы». В нем рано пробудилось лирическое волнение: с пяти лет он стал сочинять стихи. «Первым вдохновителем моим, – пишет Блок, – был Жуковский. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось, разве, имя Полонского».

В 1889 году в жизни мальчика произошла большая перемена. После развода с Александром Львовичем мать поэта вышла вторично замуж за поручика лейб-гвардии гренадерского полка Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух. Кончилась жизнь в «ректорском доме» Бекетовых. Мать с сыном переехали в казармы лейб-гренадерского полка на Петербургской стороне, на набережной Большой Невки. «Офицерский флигель» помещался в огромном казенном здании: за окнами – широкая река, пароходы, ялики, баржи, на другом берегу фабрики, трубы, зимние туманные закаты. Этот петербургский, суровый и печальный пейзаж неотделим от «городских стихов» Блока. Два полюса его поэзии – деревенская Русь, Московская губерния, Шахматово и «городская» Россия – Петербург. В набросках к поэме «Возмездие» Блок относит к гимназическим годам рождение в нем «нового Петербурга»: «Петербург рождается новый, – пишет он, – напроороченный „обскурантом“ Достоевским». Пророчество Достоевского сбылось в петербургских стихах Блока.

Отчим поэта, Франц Феликсович Кублицкий, человек простой и скромный, честный офицер и большой труженик, не блистал ни наружностью, ни талантами. Он был преданным, любящим мужем, но «климат» бекетовской семьи – романтика, поэзия, искусство – был ему вполне чужд. Избалованная и требовательная Александра Андреевна, с ее нервной чувствительностью и «мятежностью», скоро поняла свою ошибку. Она бунтовала против пошлости военной среды и жалела, что лишила сына атмосферы дедовского дома. После второго брака она стала серьезнее и сосредоточеннее: у нее появились духовные интересы. «Францик» – так называли его в семье – относился к пасынку с вежливым равнодушием. Мальчик платил ему тем же: у него не было своей семьи, и он замкнулся в себя. Кончились детские игры, проказы, веселье.

В августе 1889 года Блок поступил в Введенскую гимназию. О первых своих впечатлениях он рассказывает в повести «Исповедь язычника» (1918). «Мама привела меня в гимназию; в первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков: мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь; но в дверях класса, хотя и открытых, мне чувствовалась непреходимая черта... Меня посадили на первую парту, прямо перед кафедрой... Я чувствовал себя, как петух, которому причертили клюв мелом к полу, и он так и остался в согнутом и неподвижном положении, не смея поднять голову... Главное же чувство заключалось в том, что я уже не принадлежу себе, что я кому-то и куда-то отдан и что так вперед и будет. Проявить свое отчаяние и свой ужас, выразить их в каких-нибудь словах или движениях или просто в слезах было немислимо: мешал ложный стыд».

Чувствительность и застенчивость маленького Блока болезненны, и первое столкновение с действительностью – настоящая трагедия. Вся душа его потрясена, и в этом напряжении новых нахлынувших на него чувств впервые пробуждается эротическое волнение. «Перед черной доской, – пишет он, – стоял мальчик, стирая губкой написанные на ней слова. Тут я испытал ни с чем не сравнимое чувство. Мальчик был высок ростом, худощав и строен, у него был нежный и правильный профиль, и волосы были не совсем острижены, так что видно было, что они завивались и на лоб спустился один завиток. Я почувствовал к нему, к его лицу, ко всей фигуре, ко всему существу его острое и пламенное обожание, которое залило горячей волной все мое сердце, все мое тело. Нечто подобное я испытывал в детстве на елке, когда играл с моими сверстниками. Старшей из них была стройная девочка полька... Тогда волны обожания тоже обожгли меня, но то чувство было немного другое, к нему примешивалась, должно быть, тяжесть просыпающейся детской чувственности. Это же чувство было новым, оно было легким и совершенно уносящим куда-то. И, однако, в нем был особенный детский ужас».

В этом восторге и ужасе – смутное предчувствие судьбы. Мальчику на мгновение приоткрывается эротическая стихия его духа. Он целомудренно скрывает свое чувство. «С тем мальчиком, – продолжает он, – на которого взгляд мой упал в первый день гимназической жизни, я долго был почти незнаком. Мы сидели на разных, удаленных друг от друга партах, обожание мое не возобновлялось, и он не проявлял никаких особенных чувств ко мне. Так продолжалось до тех пор, пока нас не свела опять и по-новому судьба, посадив на соседствующие парты... Дмитрий – так звали моего соседа – был мало замечен в классе. И в старших классах он остался таким же нежным и стройным мальчиком. Пушок бороды и усов пробивался еле заметно на его нежном лице, на котором сквозь нежную кожу проступал совсем отроческий румянец. Он напоминал лицом и телом, как мне кажется теперь, Лидийского Диониса». Последние слова раскрывают природу «обожания» Блока. Не юношеская чувственность, даже не любовь, а священный трепет – прикосновение души к дионисийской стихии. Вот почему Дмитрий кажется Блоку похожим на Диониса. Эта стихия несет на себе и жизнь и творчество поэта, из ее музыки рождается его лирическая тема.

Гимназия испугала мальчика своей грубостью и косностью: учителя и воспитатели – бедные люди, загнанные уроками, унижаемые начальством, ученики – развращенные и тупые. «Класс наш был буйный, – вспоминает Блок, – среди нас были изрядные развратники, старые курильщики, великовозрастные ухаживатели, циники, борцы и атлеты».

Маленький гимназист возвращался с уроков растерянный и угрюмый. «Придет, бывало, из гимназии, – пишет М.А. Бекетова, – мать подходит с расспросами. В ответ или прямое молчание, или односложные скупые ответы. Какая-то замкнутость, особого рода целомудрие не позволяли ему открывать свою душу... он был гордым ребенком».

Раз в году Александр Львович приезжал в Петербург – и сын боялся его посещений. О мучительных отношениях с отцом Блок рассказывает в «Возмездии»:

Отца он никогда не знал,
Они встречались лишь случайно,
Живя в различных городах,
Столь чуждые во всех путях
(Быть может, кроме самых тайных),
Отец ходил к нему, как гость,
Согбенный, с красными кругами
Вкруг глаз. За вялыми словами
Нередко шевелилась злость...
Внушал тоску и мысли злые
Его циничный, тяжкий ум,

Грязня туман сыновних дум...
И только добрый льстивый взор,
Бывало, упал украдкой
На сына, странною загадкой
Врываясь в нудный разговор.

Блок вспоминает, как однажды, «безумно расшались», он вонзил в руку отца булавку: тот дико вскрикнул, побледнев от боли...

Они были чужды друг другу, даже враждебны, но на путях «самых тайных» – загадочно близки и схожи.

Дома, запершись в своей комнате, Саша с увлечением занимался выпиливанием и переплетным мастерством. В гимназии учился со скукой, ненавидел математику и любил древние языки. В неопубликованных воспоминаниях одного гимназического товарища поэта мы читаем: «Среди всей этой гимназической кутерьмы скромно цвел Блок. Именно цвел, я не могу придумать термин удачнее. Молодое буйство товарищеской ватаги как будто не задевало его... Помню его классически-правильное, бледное, спокойное лицо с ясными, задумчивыми глазами».

В эти годы Блок читал не много: обычное чтение юноши 90-х годов – Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн, Диккенс. Из русских поэтов он любил Пушкина, Жуковского, Лермонтова; позднее открыл Фета и Некрасова. В 1894 году он начал издавать рукописный журнал «Вестник» – по одному экземпляру в месяц. Сотрудниками были мать, бабушка, двоюродные братья. Журнал иллюстрировался картинками, вырезанными из «Нивы», рисунками дедушки Бекетова и самого Блока. Редактор писал романы («По Америке, или В погоне за чудовищем» – подражание Жюлю Верну), уголовные рассказы («Мсть за мсть»), сказки («Летом. Приключения жуков»), поэмы («Судьба», подражание «Замку Смальгольм» Жуковского). Первое стихотворение Блока написано, когда ему было пять лет:

Жил на свете котик милый,
Постоянно был унылый,
Отчего – никто не знал,
Котя это не сказал.

«Вестник» просуществовал три года.

В 1894 году начинается увлечение театром; поэт сохранил его на всю жизнь. В первый раз он попал в Александринский театр на «Плоды просвещения» Толстого. Впечатление было огромное. Вскоре в Шахматове начались любительские спектакли. Был поставлен «Спор древнегреческих философов об изящном» Козьмы Пруткова. М.А. Бекетова вспоминает: «Философы – Саша Блок и Фероль Кублицкий, оба в белых тогах, сооруженных из простынь, с дубовыми венками на головах, опирались на белые жертвенники. Декорация изображала Акрополь, нарисованный Сашиней рукой на огромном белом картоне, прислоненном к старой березе».

После Пруткова – Шекспир. Саша с большим вдохновением декламировал монологи Гамлета, Ромео, Отелло.

К этому времени относится первая встреча Блока с его троюродным братом, племянником Владимира Соловьева – Сергеем Михайловичем Соловьевым. Восьмилетний Сережа едет с отцом со станции Подсолнечная в Шахматове. «Колокольчик весело звенит; кругом – крутые овраги, горы с зелеными квадратиками молодой ржи. Проехали темный еловый лес, и как-то неожиданно на пригорке появилось небольшое Шахматове: несколько домов, деревни рядом не видно... Мы входим в дом. Появляются две незнакомые мне тети – тетя Аля и тетя Маня

Бекетовы, – ласково увлекают меня за собой... Сашура возвращается скорей, чем его ждали... Высокий светлый гимназист, какой-то вялый и флегматичный, говорит в нос... Тогда уже меня поразила и пленила в нем любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность».

В наброске к «Возмездию» гимназическим годам посвящены две краткие записи: «... Потом – гимназия; сначала утра при лампе, потом великопостные сумерки с трескающимся льдом и ветром». «Семья начинает тяготить. И вот – его уже томит новое. Когда говеет гимназистом – синяя весна, сумерки, ладан, и лед звездится на лужах».

Отрок вступил в трудную пору возмужания. Первые мечты о любви, первое отчаяние. Блок отмечает в «Автобиографии»: «Около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом приступы отчаяния и иронии, которые нашли себе исход через много лет – в первом моем драматическом опыте» («Балаганчик»).

Вот гимназическая карточка Блока. Сияние ангельской чистоты померкло. Золотистые кудри коротко острижены.

Глаза – пристальные, взгляд – угрюмый. Красивое юношеское лицо, открытое и благородное. Но нет прежнего задора, прежней женственной нежности. В губах – что-то упрямое и затаенное.

А на внешний взгляд Блок-гимназист был «всегда чисто и даже изящно одетым мальчиком, очень воспитанным и аккуратным» (*Княжнин В.Н.* А.А. Блок. СПб., 1922).

Александра Андреевна страдала болезнью сердца. В 1896 году эта болезнь усложнилась нервным расстройством; появились странные припадки, похожие на эпилепсию. Она жила в меланхолии, граничащей с манией самоубийства. Доктора послали ее на лечение в Германию. Летом 1897 года с сестрой Марией Андреевной и с сыном она поехала в Бад-Наугейм и там скоро поправилась. Но нервная тревога и склонность воспринимать жизнь трагически с годами все усиливалась.

В Бад-Наугейме Блок пережил свою первую восторженную любовь. Он встретился с Ксенией Михайловной Садовской, красавицей-малороссиянкой, темноволосой и синеглазой. Ей захотелось увлечь застенчивого мальчика, и она первая заговорила с ним. М.А. Бекетова рассказывает: «Они виделись ежедневно. Встав рано, Блок бежал покупать ей розы, брать для нее билет на ванну. Они гуляли, катались на лодке. Всё это длилось не больше месяца. Она уехала в Петербург, где они встретились снова после большого перерыва».

Первая любовь определила судьбу Блока как поэта. Эротическое волнение пробудило музыку, спавшую в его душе. С января 1898 года потоком полились лирические стихи. До конца декабря 1900 года было написано 290 стихотворений. Юношеская влюбленность опалила, но не осветила душу. Было чувственное волнение, ревность, разочарование. Садовская, щеголиха и кокетка, играла неопытным сердцем, влекла и отталкивала. В Петербурге были еще встречи, объяснения, слезы, а потом образ ее исчез в туманной дали. Первая «ложная» любовь погасла перед любовью истинной – к Любове Дмитриевне Менделеевой.

В стихах, посвященных «К. М. С.», мотив «обмана» преобладает:

Ложной дорога казалась —
Я не вернулся назад.
Наша любовь обманулась,
Или стезя увлекла...

Этой дорожкой ложной
Мы безрассудно пошли.

(1899)

А через два года образ первой возлюбленной – уже далекое прошлое. Он – «призрак бледный», «ненужный призрак»:

Ты не обманешь, призрак бледный,
Давно испытанных страстей.
Твой вид нестройный, образ бедный
Не поразит души моей.
Я знаю дальнее былое,
Но в близком будущем не жду
Волнений страсти. Молодое —
Оно прошло. Я не найду
В твоём усталом, но зовущем
Ненужном призраке – огня.
Ты только замыслом гнетущим
Еще замучаешь меня.

(1900)

В этом юношеском стихотворении Блок еще – робкий ученик Пушкина.

Проходит двенадцать лет. «Призрак бледный» давно забыт. Но вот судьба снова приводит поэта в Бад-Наугейм. 1909-й – трагический для него год. И вдруг прошлое воскресает. Он снова в тумане сырого парка, вот – железный мост через ручей, серая ограда, увитая розами, узкая аллея вдоль пруда, и первая зелень весны, и сладостный запах ее духов. Первая любовь оживает, нетленная, бессмертная. Восемь стихотворений 1909 года, посвященных «К. М. С.» и объединенных под заглавием «Через двенадцать лет», полны пронзительной печали.

Синеокая, Бог тебя создал такой.
Гений первой любви надо мной,
Встал он тихий, дождями омытый,
Разметает он прошлого след,
Ему легкого имени нет,
Вижу снова я тонкие руки,
Слышу снова гортанные звуки
И в глубокую глаз синеvu
Погружаюсь опять наяву.

И в другом стихотворении то же чувство вечности «первой страсти»:

Иль первой страсти юный гений
Еще с душой не разлучен,
И ты навеки обручен
Той давней, незабвенной тени?
Ты позови – она придет:
Мелькнет, как прежде, профиль важный,
И голос вкрадчиво-протяжный
Слова бывалые шепнет.

Он снова – робкий, влюбленный мальчик в «синем, синем плену» ее очей; снова встречает ее в парке на зареве заката:

О чем-то шепчущие струи,
Кружащаяся голова...
Твои, хохлушка, поцелуи,
Твои гортанные слова...

В огне времени просветлена эта случайная любовная встреча. Только в музыкальной стихии, ею пробужденной, открывается тайный смысл первого неудачного «любовного опыта». Повесть эта написана огнем на небесах. «К. М. С.» посвящено известное стихотворение:

Всё, что память сберечь мне старается,
Пропадает в безумных годах,
Но горящим зигзагом взвивается
Эта повесть в ночных небесах.

Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,
Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь.

Вернувшись в конце июля 1897 года из Бад-Наугейма в Шахматове, Блок узнал печальную новость: дедушка Андрей Николаевич Бекетов был разбит параличом. Сестра милосердия возила его по саду в кресле. В таком состоянии он прожил еще пять лет (скончался 1 июля 1902 года).

Зимой 1897/98 года поэт занимался декламацией и мелодекламацией (стихи Апухтина, Фета, Алексея Толстого). Он разучивал роль Ромео и ставил в Шахматове сцену у балкона. В это время он серьезно мечтает о карьере актера. В домашней анкете на вопрос, кем бы он хотел быть, он ответил: «Артистом императорских театров», а на вопрос, какой смертью желал бы умереть, – написал: «На сцене от разрыва сердца».

Весною 1898 года Блок окончил гимназию. После поездки в Бад-Наугейм он внезапно и резко изменился: стал общительнее, развязнее; одевался щеголем, ухаживал за барышнями, вел светскую жизнь. В «Дневнике» 1918 года хранится запись об этом периоде: «Я был франт, говорил изрядные пошлости». С.М. Соловьев в «Воспоминаниях» подтверждает эту самооценку: «В августе 1898 года я встречал Блока в перелеске на границе нашего Дедова (имение Соловьевых). Показался тарантас. В нем – молодой человек, изящно одетый, с венчиком золотистых кудрей, с розой в петлице и тросточкой. Рядом – барышня. Он только что кончил гимназию и веселился. Театр, флирт, стихи. Уже его поэтическое призвание вполне обнаружилось. Во всем подражал Фету, идей еще не было, но пел. Писал стереотипные стихи о розах, воспевал Офелию, но уже что-то мощное и чарующее подымалось в его напевах».

В восьми верстах от Шахматова, на высокой горе, было расположено Боблово – имение знаменитого химика Дмитрия Ивановича Менделеева: старый парк с огромным трехсотлетним дубом, фруктовый сад, цветники. Новый дом на вершине горы, с широкими террасами. Старшая дочь Менделеева от второго брака была на год моложе Блока; они вместе гуляли детьми; потом дедушка привозил Сашу в Боблово, когда ему было 14 лет. Но первая сознательная встреча произошла летом 1898 года. В «Дневнике» 1918 года Блок записывает: «Я приехал туда (в Боблово) на белой моей лошади и в белом кителе со стэкком. Меня занимали разговором

в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление»... М.А. так описывает будущую невесту поэта: «Любовь Дмитриевна носила розовые платья и великолепные золотистые волосы заплетала в косу. Нежный бело-розовый цвет лица, черные брови, детские голубые глаза и строгий неприступный вид... Высокий рост, лебединая повадка, женственная прелесть»...

Во второй главе «Возмездия» – наброски к ненаписанной повести о первой встрече с Л.Д. Менделеевой. Вот пейзаж «Стихов о Прекрасной Даме»:

«Долго он объезжал окрестные холмы и поля, и уже давно его внимание было привлечено зубчатой полосой леса на гребне холма на горизонте. Под этой полосой, на крутом спуске с холма, лежала деревня. Он поехал туда весной, и уже солнце было на закате, когда он въехал в старую березовую рощу под холмом. Косые лучи заката; облака окрасились в пурпур; видение средневековой твердыни. Он минует деревню и подъезжает к лесу, он сворачивает, заставляя лошадь перепрыгнуть через канаву, за сыростью и мраком виден новый просвет, он выезжает на поляну, перед ним открывается новая необъятная незнакомая даль, а сбоку – фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони – он перестает быть мальчиком».

Видение «розовой девушки» готовится долгими скитаниями по холмам и полям. Она живет на горе, за зубчатой полосой леса. Она – далекая принцесса в средневековом замке. Он – странствующий рыцарь на белом коне; она является в лучах заката, в пурпурных облаках и вокруг нее необъятные дали. Сказочная тема «Стихов о Прекрасной Даме» дана самой действительностью. Так было, такой он увидал ее – принцессой средневековых легенд.

«Лирические стихотворения все с 1897 года можно рассматривать как „Дневник“, утверждает Блок в «Автобиографии». Записные книжки и письма поэта позволяют нам оценить беспримерную правдивость его лирической исповеди.

Лето 1898 года – начало новой жизни. До 18 лет, по свидетельству М.А. Бекетовой, Блок оставался ребенком. Теперь «он перестает быть мальчиком: как у Данте, при встрече с Беатриче, у него *incipit vita nuova*»⁸.

Любовь Дмитриевна училась в гимназии Шаффе и мечтала о сцене. В Боблове был поставлен любительский спектакль. В сарае устроили сцену. Блок, в черном плаще и черном берете, со шпагой на боку, играл Гамлета. Любовь Дмитриевна, со снопом полевых цветов в руках и распущенными золотыми волосами, изображала безумную Офелию. Потом ставили отрывки из «Горя от ума» и сцену у фонтана из «Бориса Годунова». В «Дневнике» 1918 года записано: «Мы разыграли в сарае сцену из „Горя от ума“ и „Гамлета“. Происходила декламация. Я сильно ломался, но был уже влюблен. Сириус и Вега».

Осенью этого года Блок поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В «Дневнике» мы читаем: «Осенью я сшил франтоватый сюртук; поступил на юридический факультет, ничего не понимая в юриспруденции (завидовал какому-то болтуну, князю Тенишеву), пробовал зачем-то читать Туна (?) какое-то железнодорожное законодательство в Германии (!)... К осени, по возвращении в Петербург, посещения Забалканского (где жили Менделеевы) стали сравнительно реже. Л.Д. доучивалась в Шаффе, я увлекался декламацией и сценой и играл в драматическом кружке... Не помню, засел ли я на втором курсе на второй год (или сидел на первом два года)⁹. Во всяком случае, я остался до конца столь же чужд юридическим и экономическим наукам».

Летом 1899 года возобновились поездки Блока из Шахматова в Боблово. Был поставлен новый спектакль: сцены из «Скупого рыцаря» и «Каменного гостя», «Горящие письма» Гнедича и «Предложение» Чехова. Но театр как-то не ладился, не было прежнего воодушевления.

⁸ Начинается новая жизнь (*лат.*).

⁹ Блок остался на второй год на втором курсе.

Поэт запомнил: «Ночные возвращения шагом, осыпанные светляками кусты, темень непроглядную и суровость Любви Дмитриевны» («Дневник»).

Из событий этого лета Блок отмечает приезд С.М. Соловьева. «Сережа, – пишет он, – чувствовал ко мне род обожания, ибо я представлялся ему (и себе) неотразимым и много выдавшим видов Дон-Жуаном».

Любовь Дмитриевна была надменна и неприступна. «К осени я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Л.Д.)... и с начала петербургского житья у Менделеевых не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось».

Осенью в Петербурге – мимолетное увлечение дальней родственницей, Катей Хрустальной, начало долголетней дружбы с Александром Васильевичем Гиппиусом, последнее объяснение с К.М. Садовской. «Мыслью я, однако, продолжал возвращаться к ней, но непрестанно тосковал о Л.Д.».

В эти последние годы XIX века Блок еще не знал, что он – поэт. Он декламировал монологи, разучивал классические роли и верил в свое призвание трагического актера. О его декламации вспоминает С.М. Соловьев: «Чаще всего в это время приходилось видеть его декламирующим. Помню в его исполнении „Сумасшедшего“ Апухтина и гамлетовский монолог „Быть или не быть“. Это было не чтение, а именно декламация: традиционно-актерская, с жестами и взрывами голоса. „Сумасшедшего“ он произносил сидя, Гамлета – стоя, непременно в дверях. Заключительные слова: „Офелия, о нимфа...“ – говорил, поднося руку к полузакрытым глазам. Он был очень хорош в эти годы. Дедовское лицо, согретое и смягченное молодостью, очень ранней, было в высшей степени изящно под пепельными курчавыми волосами. Безупречно стройный, в нарядном, ловко сшитом студенческом сюртуке, он был красив и во всех своих движениях. Мне вспоминается: он стоит, прислонясь к роялю, с папиросой в руке, а мой двоюродный брат показывает мне на него и говорит: „Посмотри, как Саша картинно курит“».

1900 год – переходный в жизни Блока. Старое кончается, новое еще не наступает. Смутные ожидания, предчувствия, предрассветная тревога: сумеречные часы «Ante Lucem» («Перед рассветом»). Поэт убеждает себя, что знакомство с Л.Д. прекратилось, но думает о ней неотступно. В начале января он идет в Малый театр на гастроль Сальвини в роли короля Лира. «Мы оказались рядом с Любовью Дмитриевной и ее матерью. Л.Д. тогда кончала курс в гимназии (Шаффе)». Воспоминание об Офелии с полевыми цветами в руках на бобловском спектакле, о Сириусе и Веге, горевшими над ними в ту летнюю ночь, отражены в стихах:

Прошедших дней немеркнувшим сияньем
Душа, как прежде, вся озарена.
Но осень ранняя, задумчиво грустна,
Овеяла меня тоскующим дыханьем.
Близка разлука. Ночь темна.
А все звучит вдали, как в те молодые дни:
– Мои грехи в твоих святых молитвах,
Офелия, о нимфа, помяни!
И полнится душа тревожно и напрасно
Воспоминаньем дальним и прекрасным.

(28 мая 1900)

Напрасно волнение любви – она его не разделяет:

Я пред тобой о счастье воздыхал,

А ты презрительно молчала.

(12 октября 1900)

Мечты о сцене тоже обманывают. В январе Блок поступает в «Петербургский драматический кружок», и ему поручают «большую драматическую роль первого любовника». Спектакль назначен на 6 февраля в зале Павловой. Он с увлечением пишет отцу: «Стихи подвигаются довольно туго, потому что драматическое искусство – область более реальная, особенно, когдаходишь в состав труппы, которая, хотя и имеет цели нравственные, но, неизбежно, отзывается закулисностью, впрочем, в очень малой степени и далеко не вся: профессиональных актеров почти нет, во главе стоят присяжные поверенные... Я надеюсь получить некоторую сценическую опытность, играя на большой сцене». Но Блоку не удалось сыграть «ответственной роли» из-за интриг другого *jeune premier*¹⁰. М.А. Бекетова сообщает, что один из старых членов кружка открыл ему на это глаза. «После разговора с ним Александр Александрович вышел из кружка, и актерская карьера перестала казаться ему столь заманчивой, а понемногу он и совсем отошел от этой мысли».

Занятия на юридическом факультете идут вяло. Блок остается на второй год на втором курсе, юриспруденция вызывает в нем отвращение. В конце года он откровенно признается отцу: «В университет я уже не хожу почти никогда, что кажется мне правильным на том основании, что я второй год на втором курсе, а кроме того, и слушать лекции для меня бесполезно, вероятно, вследствие, между прочим, моей дурной памяти на вещи этого рода». Поэту кажется, что жизнь его остановилась; всё безнадежно и безысходно. Он – на распутье:

Поэт в изгнании и в сомненьи
На перепутьи двух дорог.
Ночные гаснут впечатленья,
Восход и бледен и далек.

Все нет в прошедшем указания,
Чего желать, куда идти?
И он в сомненьи и в изгнании
Остановился на пути...

(31 марта 1900)

Запись в «Дневнике»: «Отъезд в Шахматово был какой-то грустный. Первое шахматовское стихотворение («Прошедших дней немеркнувшим сияньем») показывает, как овевала опять грусть воспоминаний о 1898 годе, о том, что казалось (и действительно было) утрачено... Начинается чтение книг, история философии. Мистика начинается. Начинается покорность Богу и Платону». Вернувшись осенью в Петербург, он слушает в университете лекции профессора А. Введенского по истории философии и «специально» занимается Платоном по переводам Владимира Сергеевича и Михаила Сергеевича Соловьевых (письмо к отцу 26 сентября 1900 года). Изучение Платона оставило легкий, поверхностный след на некоторых стихах «*Ante Lucem*»... Поэт говорит о том, что в душе его язычество борется с христианством, называет себя «поклонником эллинов», вещает о мире идей:

¹⁰ Первый любовник (фр.).

Из мрака вышел разум мудреца,
И в горней высоте – без страха и усилия —
Мерцающих идей ему взыграли крылья.

Но все эти риторические упражнения – явно книжного происхождения. Блок читал только «Сократические диалоги» Платона и – скучал над ними. Он признается отцу: «Философские занятия, по преимуществу Платон, подвигаются не очень быстро. Всё еще я читаю и перечитываю первый том его творений в соловьевском переводе – „Сократические диалоги“, причем прихожу часто в скверное настроение, потому что всё это (и многое другое, касающееся самой жизни во всех ее проявлениях) представляется очень туманным и неясным». Романтик Блок не стал «эллином». Платоновские идеи вошли в его сознание позднее, сквозь призму мистической поэзии Владимира Соловьева. В «Дневнике» он пишет: «К концу 1900 года растет новое. Странное стихотворение 29 декабря („В полночь глухую“), где признается, что Она победила морозом эллинское солнце во мне (которого не было)».

Стихотворение это знаменательно. «Она» связывается с луной, севером, полночью и морозом. Она – «серебристая в морозной пыли», «леденит душу». И эти мотивы «Снежной маски» появляются еще до «Стихов о Прекрасной Даме».

В полночь глухую рожденная
Спутником бледным земли,
В ткани земли облеченная,
Ты серебрилась вдали.

Шел я на север безлиственный,
Шел я в морозной пыли,
Слышал твой голос таинственный,
Ты серебрилась вдали...

Дальше в «Дневнике» отмечено: «Осенью Л.Д. поступила на курсы. Первое мое петербургское стихотворение – 14 сентября... Начало богоборчества. Она продолжает медленно принимать неземные черты. На мое восприятие влияет и филология, и болезнь, и мимолетные страсти с покаянием после них».

Стихи конца 1900 года – переход к новой эпохе, к царству Прекрасной Дамы. Звеном, соединяющим эти два периода, нужно считать известное стихотворение «Ищу спасенья». Она наконец является.

Ищу спасенья.
Мои огни горят на высях гор —
Всю область ночи озарили.
Но ярче всех – во мне духовный взор
И Ты вдали... Но Ты ли?
Ищу спасенья.
.....
Устал звучать, смолкает звездный хор.
Уходит ночь. Бежит сомненье.
Там сходишь Ты с далеких светлых гор.
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.
В Тебе – спасенье.

(25 ноября 1900)

«Ты» с большой буквы, молитвенный тон, торжественная оркестровка, взволнованный ритм: на землю сходит Она – та, которую он скоро назовет «Закатная Таинственная Дева».

К осени 1900 года относится первая попытка Блока напечатать свои стихотворения. Он рассказывает в «Автобиографии»: «Как-то в дождливый осенний день отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда „Мир Божий“. Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: „Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете Бог знает что творится!“ – и выпроводил меня с свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем о многих позднейших похвалах».

1900 год – печальный год разочарований: в науке, в театре, в поэзии, в любви. Тетке Софии Андреевне Кублицкой Блок пишет грустное письмо (31 ноября 1900): «Мы с мамой частенько находимся по отношению к земному в меланхолическом состоянии... Веселиться-то вообще трудновато, зима настала, небо большей частью серое, а Петербург всё, как всегда, волнуется, шумит, впрочем, от нас довольно далеко, а Платон и Христос говорят о бессмертии души, в университете внушают юридические и другие науки...»

За период 1898–1900 годов Блок написал 290 стихотворений, впоследствии он отобрал из них 70 и объединил в отдел под заглавием «*Ante Lucerne*». В «Автобиографии» объясняется «старомодность» этих юношеских опытов: «Детство мое прошло в семье матери... Здесь господствовали в общем старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-верленовски, преобладание имело здесь *eloquence*¹¹. Одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к *musique* находили поддержку у нее... Милой же старинной *eloquence* обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлена и не с декадентства вообще... Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки, так называемой „новой поэзии“ я не знал до первых курсов Университета... До этих пор – мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но всё это я считал „субъективным“ и бережно оберегал от всех. Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке». Действительно, юношеские стихи Блока («*Ante Lucem*») продолжают традицию «старой поэзии». Поэт учится стихотворству у Пушкина и Лермонтова (стихотворения «Ты не обманешь, призрак бледный», «Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет»); подражает лирическому стилю Полонского и Майкова, перепевает даже романсы Апухтина («Пусть светит месяц – ночь темна»). Но главное русло, по которому течет его поэзия, – лирика Жуковского и Фета. Сентиментальный романтизм автора «Светланы», заглушенная гармония его напевов овладевают душой юного поэта. На голос Жуковского отвечает эхо в стихах Блока:

Я стремлюсь к роскошной воле,
Мчусь к прекрасной стороне,
Где в широком чистом поле
Хорошо, как в чудном сне...

(7 августа 1898)

¹¹ Красноречие (*фр.*).

Те знаки, которые тревожат его в природе, он пытается разгадать сквозь лирику природы Фета. Мелодия «*Ante Lucerne*» рождается из музыки «Вечерних огней». Та же символика природы, те же таинственные соответствия между жизнью мира и жизнью духа, тот же образ Возлюбленной в блеске дня и в звездах ночи. Как у Фета, ранние стихи Блока построены на параллелизме явлений природы и состояний души. Любовная тема вводится «ремарками» о «пейзаже». Вот первые строчки нескольких стихотворений: «Полный месяц встал над лугом», «Окрай небес – звезда Омега», «Спустилась мгла, туманами чревата», «Лениво и тяжело плывут облака», «Разверзлось утреннее око», «Звезда полночная скатилась», «На небе зарево», «Глухая ночь мертва», «Последний пурпур догорал». Месяц, звезды, утренние туманы, облака, вечернее зарево, тучи и ветер – космические знаки душевных движений.

Фет был восприимчивым поэтом молодого Блока. Но ученик, овладевая техникой стихотворства, – главным образом четырехстопным ямбом, – усваивая строфические формы и вариации ритма, поет уже своим голосом; голосом еще не уверенным и негромким, но мы уже узнаем этот единственный в мире глуховатый и надтреснутый звук.

Одно стихотворение Фета в сборнике «Вечерние огни» начинается строфой:

Опавший лист дрожит от нашего движенья,
Но зелени еще свежа над нами тень,
И что-то говорит средь радости сближенья,
Что этот желтый лист – наш следующий день...

У Блока в «*Ante Lucerne*» — две пронзительные фразы:

Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно кружится желтый лист,
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист —
Душа не избежит невидимого тленья.

Так каждый день стареется она,
И каждый год, как желтый лист, кружится,
Все кажется, и помнится, и мнится,
Что осень прошлых лет была не так грустна.

Зависимость стихотворения Блока от стихотворения Фета очевидна: тот же образ-символ (желтый лист – предзнаменование смерти), та же осенняя прозрачность тона, тот же размер, та же протяжная мелодия. А между тем, при всем формальном сходстве, как душевно различны эти стихи. У Фета мелькнувшая мысль о смерти только обостряет «радость сближения», любовь побеждает страх, и стихотворение кончается мажорной, бодрой «моралью»:

Пора за будущность заране не пугаться,
Пора о счастье учиться вспоминать!

Не то у Блока: «Душа не избежит невидимого тленья». Вторая строфа подхватывает эту тему, развивая ее в параллельных образах, усиливая повторениями («каждый день», «каждый день», «все кажется, и помнится, и мнится»), подчеркивая созвучиями и завершая элегической концовкой: «Что осень прошлых лет не так грустна».

Заглавие юношеского сборника Блока «*Ante Lucem*» — не поэтическая метафора. Стихи эти были написаны до явления Света, до нисхождения Прекрасной Дамы. Они полны предрас-светного томления. Еще ночь – но близится утро...

Я шел во тьме дождливой ночи,
И в старом доме у окна
Узнал задумчивые очи
Моей тоски...

(16 марта 1900)

Глава 2

Явление «Прекрасной дамы» (1901–1903)

Новый день рождается в свете мистической зари. Заря восходила. Ее видели. Она была реальностью духовного сознания, событием огромной важности. И Блок, и Белый, и все поколение ранних символистов свидетельствуют об этом; в их правдивости нельзя сомневаться. Все они на грани нового столетия пережили мистический опыт, неожиданный и непостижимый. Из него выросло символическое искусство: трагическая попытка выразить словами по существу невыразимое. Легко стать в позу «трезвого реалиста» и отвергнуть «бред больного воображения». Но от этого духовная реальность не перестанет быть реальностью: к тому же ни у Блока, студента-юриста, воспитанного в духе старинной *eloquence* (ораторского искусства (англ.)), ни у Белого, естественника, не было болезненной экзальтации. Вспоминая то время, Блок пишет в «Автобиографии»: «Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства». А Белый подчеркивает «неожиданность факта и неумение обосновать его». Но факт был: изменилась атмосфера сознания. Описать это «событие» с помощью логических понятий было так же невозможно, как слепому объяснить цвет или глухому – звук. Оставалось изъясняться намеками, символами, словесными жестами. «Подул новый ветер», «заря восходит», «свет борется с тьмой», «что-то звучит», «И – зори, зори, зори»...

Свечение атмосферы первоначально было воспринято музыкально, и из музыки родились «Стихи о Прекрасной Даме»; впоследствии явились попытки философского обоснования, строились гипотезы, Белый и Вячеслав Иванов воздвигали сложнейшие теории символизма. Как и в Средние века, лава мистики, остывая, окаменевала в схоластике.

В 1901 году среди «реалистов» и «натуралистов» появляется новая порода людей – «видящие». Между ними завязываются таинственные нити, основывается братство, вырабатывается особый тайный язык. Это «посвященные», хранящие в себе новое откровение, предчувствующие, что «заря» означает начало новой эры в жизни человечества. Пока она только «душевное событие» немногих, но ей суждено разгореться в плане историческом и космическом. Ранние символисты – провидцы и пророки: они охвачены тревогой и ожиданием мировых катастроф.

В «Воспоминаниях о Блоке» Белый свидетельствует: «Молодежь того времени слышала нечто подобное шуму и видела нечто подобное свету: мы все отдавались стихии грядущих годин: отдавались отчетливо слышимым в воздухе поступкам нового века»... Братство «видящих» объединяло Блока, Белого, семью М.С. Соловьева, братьев Метнеров, З. Гиппиус, Г.А. Рачинского, А.С. Петровского и многих других. Среди них были церковники, атеисты и теософы; но все они жили в романтической атмосфере «зари», были людьми нового мироощущения. Символической «школы» еще не было; в Москве и в Петербурге жило несколько «чудак», которые «что-то» видели и «чего-то» ждали.

З.Н. Гиппиус писала о зорях; Э.К. Метнер прослеживал тему зари в музыке от Бетховена до Шумана; его брат-композитор выражал ту же тему в своей первой сонате *C-moll*.¹² Сергей Соловьев углублялся в «Апокалипсис»; Белый работал над своей первой «Симфонией»; Блок встречал зарю среди полей и лесов Шахматова:

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,

¹² До минор.

И молча жду – тоскуя и любя.

В осязании «смутного волнения» ранних символистов решающую роль сыграл философ Владимир Сергеевич Соловьев.

«1901 год, – пишет Белый, – для меня и Сережи (племянника Владимира Соловьева) прошел под знаком соловьевской поэзии». Этот же год отмечен и у Блока («Автобиография»: «Здесь, в связи с острыми мистическими и романтическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева»).

Духовная встреча молодых Блока и Белого с певцом «Подруги Вечной» – провиденциальна. В теософии Соловьева пути русского символизма были предначертаны. Мистическая основа всей его философии – его учение о Софии, Премудрости Божией; оно вышло не из книг Беме, Пордеджа или Парацельса, но из подлинного жизненного переживания. В поэме «Три свидания» философ рассказывает о «самом значительном, что до сих пор случилось с ним в жизни». Свою таинственную «Подругу Вечную» он видел трижды. Впервые она открылась ему, девятилетнему мальчику, в праздник Вознесения, в храме, за литургией, во время пения Херувимской. Сквозь лазурь, сама сотканная из лазури, с «цветком нездешних стран» в руке, она явилась на мгновение и тотчас же исчезла в лазурном тумане. Но он реально переживает преобразование мира во время молитвы Церкви об этом преобразении. Минуют долгие годы духовных исканий и борений... Юноша проходит через материализм, богоборчество, идеалистическую философию, пессимизм Шопенгауэра, «разумную веру», пламенное обращение к Богу.

В 1875 году Соловьев уезжает в Лондон писать свою докторскую диссертацию. Здесь, в Британском музее, изучая литературу о Софии, Премудрости Божией, он страстно ждет Ее светлого пришествия. И снова в золотистой лазури является ему Ее лицо и голос зовет в Египет. Он бросает все, мчится на юг; в Фиваидской пустыне, на рассвете, Она сходит к нему в третий и последний раз:

...И в пурпуре небесного блистанья
Очами полными лазурного огня
Глядела Ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет во веки —
Всё обнял тут один недвижный взор.
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Всё видел я, и всё одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило,
Передо мной, во мне – одна лишь ты!

Поэма заканчивается торжественными словами о божественной основе мира и победе жизни над смертью:

Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества,
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье божества.

Предчувствием над смертью торжествуя
И цепь времен мечтою одолев,
Подругая вечная, тебя не назову я,
А ты прости нетвердый мой напев.

В трех видениях Соловьеву было дано откровение божественного единства Вселенной. Время, пространство, материя исчезают, как призрак. Единство космоса, «душа мира» есть личный образ – Вечная Женственность. Она – Царица, «от века воспринявшая силу Божества и нетленное сияние красоты»; она – София, Премудрость Божия, о которой Соломон говорит в «Притчах»: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь».

Дальнейшая философская работа Соловьева сводится к попыткам перевести мистическую интуицию на язык метафизических понятий («положительное всеединство») и раскрыть ее в системе историософии, этики и религиозно-социального строительства.

Свое учение о Софии он излагает в «Чтениях о Богочеловечестве», в книге «Россия и вселенская церковь» и в статье «Идея человечества у Августа Конта». К первоначальному своему прозрению он подходит с разных сторон, борется с величайшими трудностями, сталкивается с антиномиями, колеблется, меняет выражения, ищет точных формулировок. Ему не было суждено завершить свое построение: софиология его только намечена. Крайне упрощая сложнейшие метафизические выкладки Соловьева, мы можем определить Софию как идеальное человечество в Боге. В человеке есть начало божественное, которое от века пребывает в Боге, те «образ и подобие» Божии, созерцая которые Бог творит человека. Человечество в Боге есть вечное тело Божие, «риза Божества». Мир сотворенный живет и дышит лучами и отблесками, падающими на него из мира нетварного. И в этом – его истина, добро и красота. Мир тварный, погруженный в поток времени, наделен самостоятельным бытием и свободой самоопределения. «Душа мира» отпала от Бога, утратила свое царственное положение среди творений, и единство мироздания распалось. Вся тварь подверглась суете и рабству тления, не добровольно, а по воле подвергнувшего ее, т. е. мировой души. Но зло и смерть не могут коснуться вечного прообраза грешного мира – Божественной Премудрости-Софии. Она оберегает вселенную и человечество от окончательного распада; она – ангел-хранитель мира, покрывающий своими крылами всю тварь и борющийся с силами ада за обладание мировой душой. В окончательной своей форме учение дуалистично: мир нетварный – человечество в Боге – София противопоставляется миру тварному, мировой душе, отпавшей от Бога, томящейся в плену тления и чающей избавления.

Соловьев утверждает, что истина о Софии, Премудрости Божией, была открыта религиозному вдохновению русского народа еще в XI веке. На образе Софии в Новгородском соборе женская фигура в царском облачении сидит на престоле; справа Богородица, слева святой Иоанн Креститель; в глубине поднимается Христос с воздетыми руками, а над Ним виден небесный мир в лице нескольких ангелов, окружающих Слово Божие, представленное под видом Евангелия. Этот образ не заимствован из Греции, он выражает чисто русское мистическое мирозерцание. Царственное и женственное существо, принимающее почитание от завершителя Ветхого Завета и от родоначальницы Нового, есть София, Премудрость Божия, или Богочеловечество.

Мистическое учение Соловьева и Блок, и Белый восприняли сквозь призму его поэзии; для них поэт был значительнее философа. Захваченные новым звуком его лирики, одновременно и неожиданным и родным, они не видели его поэтических недостатков. Их волновала романтика философско-эротической поэзии с ее идейной страстностью и пророческим вдохновением. Бледность красок, расплывчатость очертаний, бедность рифм и однообразие ритмов

– вся «старомодность» этой лирики казалась им печатью ее подлинности. Противопоставление двух миров («грубая кора вещества» и «нетленная порфира»), игра на антитезах, образы-символы: туманы, вьюги, зори, закаты, голубка и змея, купина, лучезарный храм, терем Царицы; цвета-символы: белый, голубой, лазурный, синий, золотой – все эти особенности мистической лирики Соловьева были ими приняты как священный канон. Соловьев подсказал им слова для выражения того «несказанного», что они переживали.

Блок не знал лично Соловьева. Он видел его раз в жизни, в феврале 1900 года, на похоронах одной родственницы. В «Автобиографии» он отмечает: «Из событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших на меня так или иначе, я должен упомянуть встречу с Вл. Соловьевым, которого я видел только издали». Это воспоминание осталось неизгладимым. В статье 1910 года «Рыцарь-монах» поэт пишет: «В бесцветный петербургский день я провожал гроб умершей. Передо мною шел большого роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой; на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко не похожа на окружающее... Через несколько минут я поднял глаза: человека уже не было; он исчез как-то незаметно...» Это был Соловьев. И во всем, что Блок слышал и читал о нем впоследствии, проходило это странное видение. Во взгляде Соловьева была «бездонная глубина» и «полная отрешенность». «То был уже чистый дух, точно не живой человек, а изображение. Одиноким странником медленно ступал за неизвестным гробом в неизвестную даль, не ведая пространств и времен».

И Блоку хочется забыть всю блестящую и разностороннюю деятельность философа, публициста, критика, поэта, человека, чтобы увидеть его новый нездешний образ. «Здесь бледным светом мерцает панцирь, круг щита и лезвие меча под складками черной рясы... То – рыцарь-монах». Земное дело этого «бедного рыцаря» было освобождение пленной Царевны – мировой души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса. Блок признает поэму «Три свидания» непреложным свидетельством: только исходя из нее, можно понять сущность учения и личность философа. «Поэма Вл. Соловьева, – пишет он, – обращенная от его лица непосредственно к Той, Которую он здесь называет Вечной Подругой, гласит: „Я, Владимир Соловьев, уроженец Москвы, призывал Тебя и видел Тебя трижды: в Москве в 1867 году, за воскресной обедней, будучи девятилетним мальчиком; в Лондоне, в Британском музее, осенью 1875 года, будучи магистром философии и доцентом Московского университета; в пустыне близ Каира, в начале 1876 года“. Такова надпись, которую мы читаем над изображением рыцаря-монаха: она излучает невещественный золотой свет. Статья заканчивается торжественно-пророческими словами: „Новый мир уже стоит при дверях: завтра мы вспомним золотой свет, сверкнувший на границе двух, столь несхожих веков. XIX заставил нас забыть самые имена святых; XX, быть может, увидит их воочию“». И автор цитирует стихи Соловьева:

И в этот миг незримого свиданья
Нездешний свет вновь озарит тебя,
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

С такой спокойной уверенностью, с такой силой убеждения и вдохновения может говорить только тот, для кого мистический опыт Соловьева – его личный опыт. «Подруга Вечная», сходявшая к философу в Египетской пустыне, являлась его ученику в образе «Прекрасной Дамы» на русских просторах Шахматова. Образ Соловьева возник перед Блоком на грани нового века: он был провозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире. В статье 1920 года «Владимир Соловьев и наши дни» автор указывает на пророческий характер явления Соловьева в России. «Он был одержим страшной тревогой, беспокойством, способ-

ным довести до безумия. И предчувствия не обманули его: новый век принес с собой мировые перевороты, размеры которых мы еще не можем себе представить».

Возвращаясь к знаменательному для него 1901 году – году рождения нового мира, – Блок пишет: «Я позволю себе сегодня, чисто догматически, без всякого критического анализа, в качестве свидетеля, не вовсе лишенного слуха и зрения и не совсем косного, указать на то, что уже январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года, что самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий».

Андрей Белый познакомился с Соловьевым в семье его брата, Михаила Сергеевича. Наружность философа поразила молодого декадента. Длинный, черный, сухой, согбенный, с изможденным лицом и бессильными руками, он глухо читал свои пророческие «Три разговора». Белый запомнил «громадные очарованные глаза – серые, сутулую спину, длинную с взбитыми седыми космами прекрасную голову, большой, словно разорванный рот¹³. Соловьев сидел грустный, усталый, с тою печалью жертвенности и жуткого величия, которая почил на нем в последние месяцы: точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. Но, читая „Повесть об Антихристе“, он загорелся. При слове: „Иоанн поднялся, как белая свеча“, он тоже приподнялся, как бы вытянулся на кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения...»

Той же весной 1900 года у Белого с Соловьевым был «значительный разговор»; кажется, философ заинтересовался писаниями молодого символиста. Они условились встретиться после лета. Но в июле Соловьев скончался. Белый пишет в «Арабесках»: «И не сказанное между нами слово стало для меня лозунгом, как стала для меня впоследствии лозунгом его могила, озаренная красной лампадкой... Влад. Сергеевич был для меня впоследствии предтечей горячки религиозных исканий».

В доме М.С. и О.М. Соловьевых собирались «соловьевцы»; существовал настоящий культ покойного философа. За чайным столом Михаил Сергеевич излагал свои планы об издании сочинений брата; обсуждалась статья «О смысле любви», велись споры об Антихристе в «Трех разговорах», переживание зари связывалось с соловьевским образом Вечной Женственности. Новое радостно-взволнованное ощущение мира находило выражение в стихах «учителя»:

Знайте же, Вечная Женственность ныне,
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой Богини
Небо слилось с пучиною вод.

Белый и Сережа Соловьев были заморожены поэзией философа, мечтали о преображении эротической любви в духе статьи «О смысле любви», бредили теократией, встречались с покойным во сне и разговаривали с ним. Друзья часто навещали могилу Соловьева в Новодевичьем монастыре, вспоминая его стихи:

Тайною тропинкою, скорбною и милою,
Вы к душе приблизились... И – спасибо Вам.
Сладко мне приблизиться памятью унылою
К смерти занавешенным, тихим берегам.

И казалось им, что покойный их слышит. В снежную зиму 1901 года они бродили ночью по арбатским переулкам; им верилось, что сень Соловьева мелькает перед ними среди сугро-

¹³ Белый А. Арабески. М.: Мусагет, 1911.

бов. На ранних стихах Сергея Соловьева и на юношеской «Драматической симфонии» Белого легли отблески «соловьевского» света.

Но в Соловьеве был не только свет. Была и тьма. В его мистическом опыте небесное сплеталось с земным, религиозное с оккультным. Под рыцарским поклонением Вечной Женственности тлело «злое пламя земного огня». В одном из лучших своих стихотворений философ откровенно говорит о «темном корне» мистических роз:

Свет из тьмы. Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их.

Ни у одного мистика не было таких интимных, личных отношений с Вечной Женственностью, как у Соловьева. Когда брат его, Михаил Сергеевич, готовил к изданию сочинения покойного, он обнаружил в его рукописях бесчисленные заметки на полях: в них измененным почерком были набросаны письма за подписью «С.» или «Sophie». Соловьев писал их в состоянии медиумического транса; это была любовная переписка с Софией. «Подруга» назначала свидания, гневалась на «неверного друга», покидала его и вновь возвращалась. Он не только почитал, но и любил ее и был уверен, что любим ею. В его страстной натуре благоговение неразрывно соединялось с эросом. И было непонятно, кто же героиня «мистического романа» – реальная женщина или неземное существо? В этой роковой двойственности таилась опасность срыва, подмены и искажения. Накануне смерти философ прошел через последнее и самое страшное испытание: он ждал откровения Души Мира, Афродиты Небесной, а перед ним предстал ее зловеющий двойник.

В марте 1900 года Соловьев получает письмо из Нижнего Новгорода от неизвестной ему учительницы и журналистки Анны Николаевны Шмидт. Из него он узнает, что корреспондентка его пишет мистический трактат о Церкви и Третьем Завете и непоколебимо верит, что она – воплощение Софии, а он – воплощение Христа. Испуганный «священным безумием» старой девы, философ отвечает ей суровым письмом. Все же через несколько дней едет на свидание с ней во Владимир и уговаривает ее не доверять «видениям и внушениям». Личная встреча с Анной Шмидт горько разочаровала Соловьева.

Однако появление полубезумной-полугениальной женщины, «мистической возлюбленной», вдруг возникшей из небытия в последние дни жизни Соловьева, было не случайно. Анна Шмидт – живая пародия на странный роман философа с Подругой Вечной. А. Белый видел ее в доме Михаила Сергеевича в 1901 году. «Я разглядывал ее во все глаза: да, да, что-то весьма неприятное в маленьком лобике, в сухеньких, очень маленьких губках, в сереньких глазках; у нее были серые от седины волосы и дырявое платице; совсем соловушеская „недотыкомка серая“». Афродита Небесная и «недотыкомка серая» – такой дьявольской насмешкой отомстили мистику темные силы за «роман» с Подругой Вечной. Но эта встреча была нужна Соловьеву. Перед смертью он проходит через огонь очищения: его почитание Вечной Женственности должно было освободиться от соблазнов оккультизма и эротики. В апреле 1900 года, в том месяце, когда состоялось его единственное свидание с Анной Шмидт во Владимире, он пишет предисловие к третьему изданию своих стихов. Умудренный опытом, учитель предостерегает учеников от грозящих им соблазнов и срывов.

«Чем совершеннее и ближе, – пишет он, – откровение настоящей красоты, одевающей Божество и Его силою ведущей нас к избавлению от страдания и смерти, тем тоньше черта,

отделяющая ее от лживого ее подобия, – от той обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти»...

В этих словах подлинное ясновидение: Соловьев как будто предчувствовал трагическую судьбу Блока, его борьбу с двойниками и «лживыми подобиями», страшные подмены образа «Прекрасной Дамы», появление «Незнакомки» и «Снежной маски», срывы в ал о-л иловые миры и превращение «лучезарного храма» в «Балаганчик»...

1901 год Блок называет исключительно важным для него и решившим его судьбу. Это – год появления «Прекрасной Дамы». В «Дневнике» 1918 года отмечается 25 января 1901 года – «гулянье на Монетной к вечеру в совершенно особом настроении». «В конце января и начале февраля (еще синие снега около полковой церкви – тоже к вечеру) явно является она. Живая же оказывается Душой Мира (так определилось впоследствии), разлученной, плененной и тоскующей... и она уже в дне, т. е. за ночью, из которой я на нее гляжу. Т. е. она предана какому-то стремлению и „на отлете“, мне же дано только смотреть и благословлять отлет».

Это первая, еще беспомощная запись «переживания» поражает близостью мистика Блока к Соловьеву, еще до знакомства с ним. Только в апреле открылся Блоку мир поэзии автора «Трех свиданий»: «Книгу стихов Вл. Соловьева подарила мне мама на Пасху этого года» (запись в «Дневнике»). А таинственная «Она» является уже в конце января. И так же, как у Соловьева, «Она» – не отождествляется с «Душой Мира», а противопоставляется ей. «Она» – существо божественное, «Душа Мира» – сотворенное. И, тоже по Соловьеву, «Душа Мира» воспринимается тоскующей в плену падшего мира и ждущей своего освобождения. Влюбленность подсказывает: «Душа Мира» воплощается в образе возлюбленной; тоска и «стремление» ее светятся в живых чертах любимого лица. На мистический путь юноша-Блок вступает с бесстрашием сомнамбулы; идет по краю пропасти легко и уверенно. Отныне мельчайшие подробности встреч с возлюбленной приобретают для него бездонный смысл. Он записывает: «В таком состоянии я встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове (куда я ходил покупать таксу, названную скоро Краббом). Она вышла из саней на Андреевской площади и шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту до 10-й линии, я же, незамеченный Ею, следовал позади (тут витрина фотографии близко от Среднего проспекта)»... «На следующее утро я опять увидел Ее издали, когда пошел за Краббом (и привез в башлыке, будучи в исключительном состоянии, которого не знала мама)... Я покорился неведению и боли (психологически – всегдашней суровости Л. Д. М.)».

Наступает весна и встреча с поэзией Владимира Соловьева, которая «овладевает всем его существом».

«К весне, – читаем мы в «Дневнике», – начались хождения около островов и в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял, как Видения (закаты)».

Это душевное состояние запечатлено в стихотворении, написанном 17 мая 1901 года. Его последняя строфа:

Я здесь в конце, исполненный прозренья,
Я перешел граничную черту,
Я только жду условного виденья,
Чтоб отлететь в иную пустоту.

В эту весну он читает первый сборник «Северных цветов» издательства «Скорпион». «Брюсов (особенно) окрасился для меня в тот же цвет, так что в следующее затем „мистическое лето“ эта книга играла также особую роль».

В «Северных цветах» Блок прочел отрывки из поэмы Брюсова «Замкнутые», в которой изображал ужас будущего горо-да-дома «со стеклянным черепом, покрывшим шар земной»

и воспевался восторг гибели и уничтожения. Возможно, что именно брюсовский пафос конца мира поразил Блока. Из других участников сборника выделялись Иван Коневский – поэт редкого и острого своеобразия; косноязычный пророк Александр Добролюбов, Сологуб, Бальмонт, Балтрушайтис. Звуки их стихов вошли в общую мелодию блоковского «мистического лета». В письме к отцу от 2 мая – как всегда, сухом и сдержанном – он намекает на необычайность своего душевного состояния. «Весна, – пишет он, – почувяла свою силу и отозвалась на моем настроении в высшей степени. Пора свести городские счеты и временно перейти в созерцательность». Тайный смысл этой «созерцательности» раскрывается в «Дневнике», как напряженная работа над собой, как своего рода мистическая дисциплина. «В том же мае, – пишет Блок, – я впервые попробовал „внутреннюю броню“ (ограждать себя „тайным ведением“ от Ее суровости)».

Это выразилось в стихах:

Я чувствую, я верую, я знаю,
Сочувствием провидца не прельстишь,
Я сам в себе с избытком заключаю
Все те огни, какими ты горишь.

(17 мая 1901)

Гордая уверенность «провидца» – «вселенная во мне» – выросла из сознания растущих сил. Блок записывает: «Это, по-видимому, было преддверием будущего „колдовства“, так же как необычайное слияние с природой». Тональность влюбленности менялась. «Началось то, – продолжает он, – что „влюбленность“ стала меньше призвания высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо... Потом следуют необыкновенно важные „ворожбы“ и „предчувствия изменения облика“».

Накопление сил и «внутренняя броня» отражаются в плане житейских отношений. Поэт отмечает: «Л. Д. проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился». В этом удивительном признании – высшая простота правдивости. Он светился дарованным ему светом и смиренно свидетельствовал: свет был.

Летом семья Софьи Андреевны Кублицкой уезжала в Барнаул и приглашала Блока погостить у них. Любовь Дмитриевна дала ему понять, что отъезд его был бы ей неприятен. В письме к тетке от 5 июля он под разными предлогами вежливо отклоняет приглашение и прибавляет: «Я доволен окружающим настоящим». А в «Дневнике» пишет: «Я был так преисполнен высокого, что перестал жалеть о прошедшем».

Из Шахматова Блок уезжает на несколько дней в имение бабушки Коваленской «Дедово»; там он встречается с семьей М.С. Соловьева (двоюродная бабушка Блока, А.Г. Коваленская, мать Ольги Михайловны Соловьевой).

О значительной для него встрече с братом Владимира Соловьева он кратко записывает в «Дневнике»: «Тут я ездил в „Дедово“, где вел серьезные разговоры с Соловьевыми. Дядя Миша (Михаил Сергеевич) подарил мне на прощанье сигару и только что вышедший (или выпущенный) первый том Вл. Соловьева».

О содержании «серьезных разговоров» Блока с Соловьевыми мы узнаем из «Воспоминаний» Белого. О существовании «Саши» Блока он знал уже давно. Еще в 1897 году Соловьевы рассказывали ему об их родственнике-гимназисте, который тоже пишет стихи и тоже увлекается театром. После встречи с троюродным братом в «Дедове» Сережа Соловьев пишет Белому восторженное письмо: он много бродил с Блоком по полям и беседовал о поэзии и философии Владимира Соловьева. С радостью прибавляет, что Блок тоже верит в реальное бытие Софии, Премудрости Божией, и видит откровение Ее лица в лирике Соловьева. Для него тоже ста-

рый мир рушится, восходит заря новой эры, предсказанная философом. «Письмо Соловьева о Блоке, – заключает Белый, – событие; понял: мы встретили брата в пути».

С августа 1901 года Соловьевы и Белый погружаются в чтение стихов Блока. В них находят они музыку, которой звучал окружавший их воздух. «Казалось, – пишет Белый, – что Блок написал только то, что сознанию выговаривал воздух: розово-золотистую и напряженную атмосферу эпохи осадил он словами... Острейшее, напряженнейшее выражение теософии Соловьева, связавшейся с жизнью, в них было».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.